



NAUM VAIMAN

## Мандельштам и Россия. Опыт интерпретации стихотворения *Сохрани мою речь*

*Odi et amo.  
Excrucior*<sup>1</sup>

\*\*\*

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,  
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье,—  
Обещаю построить такие дремучие срубы,  
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —  
Как прицелься на смерть городки зашибают в саду,—  
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе  
И для казни петровской в лесу топорище найду.

(3 мая 1931)

Стихотворение — квинтэссенция и кульминация жизненного проекта поэта: стать частью русской жизни и русской речи. Трагическая попытка. От нее осталась великая исповедь неудачи. Форма обращения носит характер делового предложения: ты — «сохрани мою речь», а я, «за это», обещаю построить тебе «дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей

<sup>1</sup> Ненавижу и люблю. Измучен (лат.) — крылатое латинское выражение, перефраз стихотворения Каталла *Catullus 85, Catvlli Carmen LXXXV*.

на бадье» — иносказание, означающее готовность соучастия в казнях. Казнь путем утопления или сжигания в сруб-колодце была распространена на Руси (так сожгли, например, протоппа Аввакума), колодцы также использовались для сбрасывания трупов. Эти казни широко применялись при великом погроме Новгорода опричниками Ивана Грозного в 1570 году, поэт и упоминает о «новгородских колодцах». Не забыли об этом виде казни и во время Гражданской войны, так, например, членов царской семьи, расстрелянных 18.07.1918 года в Екатеринбурге, и их многочисленных родственников, которых держали в Алапаевске, сбросили в ствол шахты по добыче руды — чем не «колодец» —, причем «алапаевских» сбросили живьем, забросали шахту гранатами, а потом еще извлекли тела, облили серной кислотой и сожгли<sup>2</sup>. И Мандельштам обещает «построить такие дремучие срубы», т.е. колодцы, для казни «князей». Эти строки особенно ужасны и тем, что поэт связывает (если не уподобляет) сохранение своей речи с блеском «еврейской» (с семью плавниками<sup>3</sup>) звезды, названной Рождественской, на черной и сладкой крови этих «князей». «Сладость» в данном случае неизбежно отсылает к библейской легенде о Самсоне и его фразе: «Из могучего вышло сладкое». О каком же «Рождестве», говорит здесь поэт? Разве не рождество-торжестве революции и победе «народной власти»? А, может быть, и о рождестве-торжестве своей поэтической звезды?<sup>4</sup> Так или иначе, в этой черной и сладкой крови «отражается» революционная кульминация не только двухсот лет истории «вместе»<sup>5</sup>, евреев и русских, но и более чем тысячелетняя (с хазар и ранее) история взаимопроникновения двух цивилизаций, поэт Иосиф Мандельштам видит свою поэзию венцом этой кульминации и требуют ее сохранить!

То, что смысл сделки именно таков — готовность соучастия в казнях — подтверждается повторением обещания и его оправданием в знаменательной строке: «лишь бы только любил меня эти мерзлые плахи». «Мерзлые плахи» и «казни» — символ России для Мандельштама: «Россия — ты на камне

<sup>2</sup> См. книгу следователя по особо важным делам Омского окружного суда Николая Алексеевича Соколова *Убийство царской семьи*.

<sup>3</sup> Семь плавников как еврейский символ разбирается в моей книге *Преображения Мандельштама*.

<sup>4</sup> «Вот уже четверть века, как я... наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе» (из письма Ю.Н. Тынянову 21 января 1937).

<sup>5</sup> См. двухтомный труд А.И. Солженицына: *Двести лет вместе, Русский путь, Москва 2001*.

и крови»<sup>6</sup>, «И казнями там имениты дни»<sup>7</sup>. И «за это», повторяется, ради любви России, кровью умытой<sup>8</sup>, я готов на все: и на муки: «всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе», и на казни: «и для казни петровской в лесу топорнице найду». Это предложение о сделке окрашено и другими революционными намеками-обертонками: в первой строфе говорится о труде, терпении и несчастьях (скорбная доля не только евреев, но и рабочего класса, как оправдание-объяснение революции), а в последней строфе казни названы «петровскими»: Петр Великий считался в русской традиции царем-революционером. Здесь и намек на революционное величие вождя новой революции и новой беспощадности. В *Оде* Сталину поется:

Я у него учусь — к себе не знать пощады,  
Несчастья скроют ли большого плана часть,  
Я разыщу его в случайностях их чада...

Снова говорится о «несчастьях»<sup>9</sup> (Мандельштам любил «бить на жалость»), но тут же и о «больших планах» («я планов наших люблю громадьё», писал Маяковский), и о беспощадности (к себе, как к врагу, поскольку эта *Ода* и мольба «Сохрани мою речь» — покаяние отщепенца в народной семье), готовности в чаду этих несчастий-казней разглядеть великий путеводный замысел. Только ему, у кого он учится беспощадности, кому стремится помогать («Художник, помоги тому, кто весь с тобой»<sup>10</sup>), кого стремится «охранить» («Художник, береги и охраняй бойца»<sup>11</sup>), обращены эти покаяния и мольба «сохранить». Она включает в себя и униженное напоминание о прошлых заслугах, кои сводятся к трудолюбию, смиренному долготерпению и страданию: «за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда». «Береги и охраняй» повторяется в *Оде* дважды, и здесь тоже намек на сделку: я сохраню тебя, как поэт!, а ты — мою речь, как Властелин.

Такую сделку иначе как фаустовской и не назовешь. И какому еще дьяволу могли быть адресованы эти обеты мыкать-ся, но служить верой и правдой за сохранение речи? Только Вождю, только он заведует таким спецхраном. Поэт знает:

<sup>6</sup> И. Мандельштам, *Заснула чернь*, 1913.

<sup>7</sup> *Отрывки из уничтоженных стихов*, 1931.

<sup>8</sup> А. Веселый, *Россия, кровью умытая*, 1924.

<sup>9</sup> «Невозможно, чтобы великой революции не сопутствовали несчастья» (Ж.М. Местр, *Рассуждения о Франции*, РОССПЭН, М. 1997, с. 20).

<sup>10</sup> И. Мандельштам, *Ода*, 1937.

<sup>11</sup> Там же.

признание-сохранение идет сверху, от власти. К тому же ему не жалко ни татарвы, ни князей. И поэт называет партнера по сделке, но не прямо, а намечая следы-метафоры, которые должны привести к адресату, играет с читателем в угадку: найди по трем признакам-эпитетам-метафорам: «отец мой, мой друг и помощник мой грубый». Только тот, кому подойдут все три «эпитета», может быть назван адресатом обращения. Самые популярные версии адресата в мандельштамоведении (выдвигаются многими авторитетными исследователями и почти общеприняты) — язык и народ, русский язык и русский народ. Конечно, русский язык был Мандельштаму другом. Но мог ли поэт назвать его отцом своей поэтической речи? Ни в коем случае. Поэт уже на ранних этапах творчества осознал, что и Россия и русский язык были для него не природной данностью, а выбором пути. В программном стихотворении *Раковина* Россия — «ночь», а он — раковина, он не отсюда родом, а «из пучины мировой», и просто выброшен на ее берег («выброшен на берег твой»). Уже в этом стихотворении 1911 года звучит вызов колоссу и угроза его завоевания (причем собственная речь названа «ложью»!):

Ты равнодушно волны пенишь  
И несговорчиво поешь;  
Но ты полюбишь, ты оценишь  
Ненужной раковины ложь.

Да, он отдался своему выбору, но он всегда сомневался в нем. И порой, уже в дальнейшем, его охватывал страх перед последствиями этого выбора («В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет»<sup>12</sup>), он ощущал его «внутреннюю ложь» («В себе самом, как змей, таясь,/Вокруг себя, как плющ, вивась»<sup>13</sup>; «Я в темноте, как змей лукавый, /Влачусь к подножию креста»<sup>14</sup>, и даже чувство измены («И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб,/Получишь уксусную губку ты для измннических губ»<sup>15</sup>).

Не забудем, что Мандельштам в тот ранний период, обдумывая свой «логотип», выбирал между двумя метафорами: раковина и камень, и первый свой сборник хотел назвать *Раковина* (но выбрал *Камень*<sup>16</sup>).

<sup>12</sup> *Не искушай чужих наречий*, 1933.

<sup>13</sup> *В самом себе, как змей, таясь...*, 1910.

<sup>14</sup> *Когда мозаик никнут травы...*, 1910.

<sup>15</sup> *Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...*, 1933.

<sup>16</sup> Камень — образ небесной воли. Согласно пророчеству Даниила он бьет по ногам имперского колосса, сделанного из несоединяемой смеси железа и глины, и обрушает колосс. В образе камня во

И уже в *Раковине* появляется мотив «ненужности», внутренней опустошенности («нежилого сердца дом») и бесплодности («без жемчужин») этого союза — изначальная тема чуждости. И в поздний период, когда чуждость стала осознанной, появился и мотив побега:

Себя губя, себе противореча,  
Как моль летит на огонек полночный,  
Мне хочется уйти из нашей речи  
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Даже в слове «нашей» (не «моей», родной), звучит понимание чуждости, и знание точного адреса происхождения своей речи:

Чужая речь мне будет оболочкой,  
И много прежде, чем я смел родиться,  
Я буквой был, был виноградной строчкой,  
Я книгой был, которая вам снится<sup>17</sup>.

Книга, которая «вам» снится, это, конечно, Библия. Так что, повторяю, не мог Мандельштам считать русский язык своим «отцом». И уж, тем более, никак не мог назвать его «грубым помощником». Чем это русский язык, который для Мандельштама «слаще пенья итальянской речи, ибо в нем таинственно лепечет чужеземных арф родник» (не забудем и «гармонический проливень слез» и «стихов виноградное мясо») заслужил такой резкий и враждебный эпитет? Нет, не вяжется. Но главное: как это можно предлагать языку какие-то сделки, тем более расплачиваться с ним за бессмертие соучастием в казнях? Можно, конечно, считать язык кладовой исторической памяти, но тогда получается, что вся традиция русской культуры, закрепленная в языке, требовала от поэта не только отказаться от чести и имени («на честь, на имя наплевать»<sup>18</sup>), но и стать палачом...

во всем творчестве Мандельштама можно услышать еврейские коннотации, а «где-то» он и себя, свое творчество видит таким камнем, обрушающим великую империю. Что зашифровано в стихотворении 20 января 1937 года:

Как землю где-нибудь небесный камень будит,  
Упал опальный стих, не знающий отца.  
Неумолимое — находка для творца —  
Не может быть другим, никто его не судит.

<sup>17</sup> И. Мандельштам, *К немецкой речи...*, 1932. Подробный разбор стихотворения можно посмотреть в моей книге *Преображения Мандельштама*, она есть в сети.

<sup>18</sup> *Ты должен мной повелевать...*, 1935.

Народ в качестве грубого помощника подходит, но уж никак — в качестве друга. Мандельштам не считал русский народ своим другом, он его смертельно боялся и, мягко говоря, недолюбливал. Страх перед ним прорывается во многих стихах. Уже в юношеской заметке (автору 15 лет!) «Преступление и наказание в *Борисе Годунове*» поэт пишет: «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: «вязать Борисова щенка!» — заставляет нас окончательно увериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа». Очевидно крик «вязать его!» пронизывает Мандельштама «до кости» холодом смертельного погромного ужаса. Этот ужас отзовется позднее в стихах *На розвальнях, уложенных соломой* (1916), где он представляет себя Самозванцем, увозимым на казнь<sup>19</sup>, а еще через десять лет, в *Египетской марке* (1927), — паническим страхом Парнока перед самосудом толпы.

Русские для него «волки»<sup>20</sup> или «татарва»<sup>21</sup>. «Это какая-то по-месь хорька и человека, подлинно 'убогая' славянщина... эти хитрые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы...»<sup>22</sup>. Сравнение русских с волками возникает у него не раз («Волков горящими пугает головнями»). Цветаева вспоминает слова Мандельштама, когда он приехал к ней в Александров в 1917-ом: «Что это у вас за Надя такая? Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что — не только ребенка, котенка бы не доверил! ... Глаза-щели, зубы громадные — волк!<sup>23</sup>», и поэт определяет свое происхождение однозначно: «Но не волк я по крови своей». Не удивительно, что в такой «волчьей» народной семье он «непризнанный брат», «отщепенец», и уж никак не друг<sup>24</sup>. Тем более, назвав себя «непризнанным братом» этого народа, он не мог считать его отцом. Нет, ни отцом, ни другом этот народ ему не был, а значит и версии народа и языка как адресатов стихотворения *Сохрани* придется отбросить.

<sup>19</sup> Нырjali сани в черные ухабы,/И возвращался с гульбища народ./Худые мужики и злые бабы/Переминались у ворот. //Сырая даль от птичьих стай чернела,/И связанные руки затекли;/Царевича везут, немеет страшно тело — /И рыжую солому подожгли.

<sup>20</sup> У Волошина в стихотворении *Северовосток*: «Ныне ль, даве ль? — все одно и то же:/ Волчьи морды, машкеры и рожи. . .»

<sup>21</sup> «татарин» — частое в русском языке обозначение чужака, «варвара», грубого простолюдина. В стихотворении 1931 года *Сегодня можно снять декалькомани*. . . Мандельштам пишет: «Молодых рабочих/Татарские сверкающие спины. . ./Здравствуй, здравствуй,/Могучий некрещеный позвоночник,/С которым проживем не век, не два!..»

<sup>22</sup> Очерк *Сухаревка*, 1923.

<sup>23</sup> М. Цветаева, *История одного посещения*.

<sup>24</sup> Если в общенародных представлениях «волк» — хищник, то в поэтике Мандельштама он становится жертвой, как и русский народ, которого он символизирует. Именно ему, народу-волку, «на плечи кидается век-волкодав» (*За гремящую доблесть грядущих веков. . .*, 1931–35).

Мне совершенно очевидно, что адресат стихотворения — Сталин.

Уже в ранний период своего творчества поэт принимает для себя мазохистскую формулу взаимоотношений с Россией: *Odi et amo*, как писал Катулл, «ненавижу и люблю». Она лапидарно выражена в стихотворении 1913 года *Заснула чернь...*: «Россия, ты — на камне и крови — / Участвовать в твоей железной каре/Хоть тяжестью меня благослови». Уже здесь, впервые в творчестве, готовность, ради ее, России, благословения, участвовать и в ее железных карах. Эта «формула» стала законом для многих поэтов-«детей России». Георгий Иванов писал:

Да, снова потом, снова кровью  
Должны служить до смерти ей  
Все обрученные любовью  
Железной Родине моей!<sup>25</sup>

То же и у Есенина:

Радуюсь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живет на Руси<sup>26</sup>.

Эта же формула стала царской печатью стихотворения *Сохрани мою речь*.

Мандельштам выносил и выстрадал эту парадоксальную (и очень русскую), почти религиозную веру в жертвенную суть жизни и созидания, что-то вроде «чем нам хуже, тем нам лучше». В этой отчаянной, безоглядной, почти юродивой жертвенности он увидел возможности сопряжения с христианством и творчеством как «подражанием Христу»<sup>27</sup>. Об этом и в *Сохрани мою речь*: чем чернее вода в колодце (чем чернее дела), тем отчетливее отражается в нем Рождественская звезда... Та же формула и те же атрибуты (звезда, топор, бочка — аналог сруба, черная вода и смерть) в стихотворении на смерть Гумилева *Умывался ночью на дворе...* (1921):

На замок закрыты ворота,  
И земля по совести сурова.  
Чище правды свежего холста  
Вряд ли где отыщется основа.

<sup>25</sup> Сборник *Памятник славы*, 1915.

<sup>26</sup> *Спит ковыль. Равнина дорогая...*, 1925.

<sup>27</sup> *Скрябин и христианство*, 1917.

Та же формула-заклинание: земля (русская) сурова, но она «чиста». Эта формула бытия в России будто простегивает свой кровавый след через все творчество поэта («Россия, ты — на камне и крови — /Участвовать в твоей железной каре/... благослови<sup>28</sup>»; «несчастья волчий след,/ ему ж вовеки не изменим<sup>29</sup>»; «По старине я принимаю братство/Мороза крепкого и щучьего суда»<sup>30</sup>; «Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи», и она же — его «дорога к Сталину». К началу тридцатых вождь становится в глазах Мандельштама воплощением России, и намертво овладевает мыслями и чувствами поэта («Ассириец держит мое сердце»<sup>31</sup>). Так что, предлагая Сталину, отцу народов-языков, фаустовскую сделку — вот уж кто воистину был дьяволом во плоти, даже с многолетней теологической подготовкой — , поэт, по сути, предлагает ее России, ее народу и языку, что объединяет все версии. Во многих текстах Мандельштама Сталин соединяет в себе и отцовство, и дружбу, и заботу о языке. Вождь — дух языка<sup>32</sup>. В варианте стихотворения *Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...* Мандельштам прямо пишет об их единстве, причем в образе русского тотема — медведя: «Язык-медведь ворочается глухо /В пещере рта. И так от псалмопевца /До Ленина...». Значит, и до Сталина. Тема тройной связи вождя, народа и языка поэт поднимает на пьедестал своей знаменитой *Оды Сталину*: «Ему народ родной — народ-Гомер хвалу утроит».

В *Оде* Сталин трижды назван «отцом» («вдруг узнаешь отца»; «не огорчить отца»; «отца речей упрямых»). Герой оды — сам поэт, «художник» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...») — учится понимать масштабность переживаемой эпохи и Сталин — его учитель («Я у него учусь, не для себя учась»), а значит и помощник, и в ответ он призывает себя помочь вождю: «помоги тому, кто весь с тобой» — помощь всегда взаимна. Ну, а то, что помощник был грубоват, чистая

<sup>28</sup> *Заснула чернь...*, 1913.

<sup>29</sup> *Люблю под сводами седая тишины...*, 1921. Поэт присягает на верность русскому «следу несчастья», а о том, что именно «русский след» говорит эпитет «волчий».

<sup>30</sup> *1 января 1824 года.*

<sup>31</sup> *Путешествие в Армению, 1931–32.*

<sup>32</sup> Сталин изначально и живейшим образом интересовался филологией, начиная с участия в литературном кружке еще в духовной семинарии и стихотворчества в молодости и кончая принципиальной важной для него работой *Марксизм и языкознание* (конец сороковых, дискуссия с учением академика Марра). Кроме того Сталин всю жизнь был упорным, талмудическим редактором текстов. Леонид Максименков, автор книги *Сумбур вместо музыки: сталинская культурная революция 1936–1938*, справедливо отмечает, что «Сталин, как политик, был прежде всего редактором подготовленного для утверждения текста. ... Он воспринимал российскую политическую культуру через письменный текст».

(как слеза комсомолки) правда: фраза из письма Ленина 13-му съезду партии «Сталин слишком груб» была всем прекрасно известна<sup>33</sup>. Да и помощь вождя шла вместе с вещами довольно грубыми: «приговорами» («Вот 'Правды' первая страница, /Вот с приговором полоса»), «кровавыми костями в колесе», «мерзлыми плахами» и отварами из «ребячьих пупков». Но стремления Мандельштама к приобщению к грандиозным замыслам и свершениям, несмотря на «несчастья», это не уmaßило.

Многим затруднительно принять *Сохрани мою речь навсегда* как обращение к Сталину: уже сложился образ поэта — жертвы режима, бросающего Сталину героический вызов стихотворением *Мы живем, под собою не чуя страны* (1933). С верноподданнической мольбой и готовностью служить вроде бы и не вяжется. Однако эта неувязка кажущаяся, и лишь на первый взгляд. Между двумя этими стихотворениями есть глубокая связь. И в стихотворении *Мы живем под собою не чуя страны* говорится о том, что в стране только один хозяин речи, все остальные обречены на молчание-мычание («Наши речи за десять шагов не слышны»)<sup>34</sup>. Правда, у самого Хозяина речь какая-то нечеловеческая, он «бабачит и тычет», а его сподвижники «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», так что в своей мольбе о сохранении речи поэт проявляет заботу не только о личном бессмертии, но и о жизни-бессмертии речи вообще, без чего страна превратится в филологическую пустыню, «мерзость запустения»<sup>35</sup>.

По возвращению в 1930 году из Армении, в отчаянной, клочущей, язвительной и гневной *Четвертой прозе*, Сталин вторгается в тексты Мандельштама в образе дьявола. Сначала вождь назван «рыбым чертом», коему все «запроданы на три поколения вперед», затем «нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготовляющим газетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. ... Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи». Евгений Тоддес

<sup>33</sup> Крупская зачитала письмо на съезде в 1924 году, и оно было предметом бурного обсуждения и даже отставки Сталина.

<sup>34</sup> Д.Г. Лахути считает, что и «звукочас» в стихотворении *От сырой простыни говорящая...* 1935 года — это Сталин. Стихотворение о фильме *Чапаев*, одном из первых советских звуковых фильмов, по мнению Лахути «рыбы» («Знать, нашелся на рыб звукочас») — это безмолвный, лишенный речи народ, что совпадает с «наши речи за десять шагов не слышны» («Мы живем, под собою не чуя страны»).

<sup>35</sup> Статья *О природе слова*, 1921.

справедливо видит в редакторе-гробовщике портрет Сталина: «в частности, радость при виде крови предвосхищает строку 'Что ни казнь у него — то малина', а брызжащая фонтаном черная лошадиная кровь эпохи — «трансформация мотива, введенного в «Веке»: «Кровь-строительница хлещет / Горлом из земных вещей»<sup>36</sup>. И не забудем, что Сталин «как политик был прежде всего редактором подготовленного для утверждения текста»... Вся картина советской жизни в *Четвертой прозе* — бесовский праздник, бал у Сатаны, на котором поэт заключает сделку: «подписал с Вельзевулом... грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком...»

*Неправда, За гремучую доблесть, Сохрани, Мы живем, под собою не чуя страны* и др. стихи начала тридцатых годов связаны единой, фольклорной поэтикой, в ее рамках жестокая сказка, страшный сон и фантастически жуткая явь завязаны русской речью в единый узел, в басенную мешанину людей и зверей («были мы люди, а стали людье»). Эта фантазмагория действительности напоминает роман *Мастер и Маргарита* Булгакова. И неважно, кто у кого и что позаимствовал, но Сталин-Вельзевул был их общей судьбой и общим литературным героем. Оба в отношении к нему совершили похожий поворот от враждебного неприятия к формуле Гете, которую Булгаков вынес в эпиграф к роману: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Булгаков начал писать роман примерно в то же время, что и Мандельштам *Четвертую прозу*. Игорь Волгин в замечательной работе *Булгаков и Мандельштам: попытка синхронизации* отметил множество переключек и совпадений в конкретных фрагментах текста, в литературных замыслах и в судьбе обоих: «Булгаков прямо говорил, что прототипом Воланда является Сталин». И в романе «единственным действительно положительным персонажем оказывается дьявол». Как и в известных анекдотах-новеллах Булгакова о Сталине, там «царит... дух безумного и зловещего маскарада», напоминающего сцену в горнице кремлевского горца. Все эти заигрывания с дьяволом были «прививкой от расстрела». Жить можно было лишь «большевея». А стало быть, идти на службу к дьяволу. «Душно — и все-таки до смерти хочется жить» (из стихотворения «Колют ресницы. В груди прикипела слеза./Чую без страха, что будет и будет гроза»). В *Неправде* герой окончательно входит в эту страшную сказочную избу,

<sup>36</sup> Е.А. Тоддес, *Избранные труды по русской литературе и филологии*, НЛО, М., с. 419.

и последняя строка («Я и сам ведь такой же, кума») — признание, что отныне он такой же полноправный член этого мира, он теперь тоже «кум»<sup>37</sup>, а шестипалая неправда ему кума. Миф о шестипалости Сталина смешивается с народными верованиями в уродство как сатанинскую печать и знак силы.

Схема взаимоотношения с вождем, воплощающим страну, народ и язык, закрепленная в *Сохрани мою речь*: ты мне — речь, а я буду стеречь, повторяется и в *Стансах* 1935 года, и в других стихах тридцатых годов обращенных к Сталину. В *Стансах*, принимая «всё», поэт расхваливает свой вклад в общее дело — поэтическое мастерство: «как Слово о Полку струна моя туга», обещает «работать речь, не слушаясь — сам-друг». «Сам-друг» значит вдвоем. Но с кем, с каким помощником и другом он собирается вершить эту великую работу славословия новой жизни? Ответ может быть только один — со Сталиным, отцом не только народов, но и советского языкознания. В одном из черновых фрагментов *Четвертой прозы* (1930 г.) Мандельштам пишет: «Кто же, братишки, по-вашему, больше филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отречься до десятых петухов, — или Митька Благой<sup>38</sup>... По-моему — Сталин. По-моему — Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык». Интересно, что Мандельштам, отдаваясь Сталину, не тешит себя иллюзиями, он «помнит всё», и не отводит взгляда от приговоров и казней<sup>39</sup>. Называя своего учителя «палачом», он тем самым декларирует и свою готовность участвовать в казнях.

Я помню все: немецких братьев шеи,  
И что лиловым гребнем Лорелеи  
Садовник и палач наполнил свой досуг.

Год был на дворе 1935, в гитлеровской Германии ввели смертную казнь через отрубание головы<sup>40</sup>. Но «садовник и палач» — не Гитлер (расчетливая двусмыслица – пустить преследователя по ложному следу), а Сталин. Ирина Месс-Бейер,

<sup>37</sup> «кум», в тюрьмах и лагерях кличка начальников, обычно это начальник оперативной части, иногда и начальник лагеря (как в поэме Галича *Песня о Сталине*: «Заявился к нам в барак 'Кум' со всей охраной»).

<sup>38</sup> Д.Д.Благой — советский академик, филолог и пушкиновед.

<sup>39</sup> «Вот 'Правды' первая страница, вот с приговором полоса» (*Стансы*, 1937).

<sup>40</sup> Любопытно, что особо отличившимся работникам ЧК и НКВД дарили именные топоры, выкованные в Златоусте, а Мандельштам благословлял «кремневый топор классовой борьбы» (*Пшеница человеческая*).

Делгир Лахути и Лев Городецкий убедительно доказывают эту версию. Так Лахути, рассмотрев публикации нацистской прессы и мемуары сподвижников фашистского диктатора, не нашел ни сравнений Гитлера с садовником, ни указаний на его занятия садоводством. В то же время Месс-Бейер приводит много примеров сравнения Сталина с садовником: «такое сравнение было в СССР трафаретным»: «Есть великий садовник у нас»; «Он — как садовник у дерева бессмертья»; «И он склоняется к детям, как мудрый садовник к цветам» (цитаты из стихотворений Александра Чахикова, Тициана Табидзе и Валериана Гаприндашвили из сборника *Стихи о Сталине* 1936 года). «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево», — эти слова Сталина, сказанные им на встрече с металлургами в Кремле накануне 1935 года, цитировали все ведущие газеты, через месяц «эти замечательные слова» повторил Молотов в докладе на седьмом съезде Советов, еще через месяц их вновь повторила «Правда». Один из самых ярких примеров такого сравнения — стихотворение *Садовник* Василия Лебедева-Кумача (1938):

Вся страна весенним утром  
Как огромный сад стоит,  
И глядит садовник мудрый  
На работу рук своих.

.....  
Пар идет от чернозема,  
Блещут капельки росы...  
Всем родной и всем знакомый  
Улыбается в усы<sup>41</sup>.

Лев Городецкий в статье *Россия, Кама, Лорелея* подкрепляет эту версию подробным и остроумным разбором фразы «лиловым гребнем Лорелеи»: и в легенде, и в стихах Гейне<sup>42</sup>, и у Мандельштама соблазн Лорелеи несет смерть, гребень — ее орудие казни (и расположено в районе шеи), а лиловый цвет — один из оттенков красного. А если вернуться к одному из центральных стихотворений Мандельштама *Декабрист*, написанному еще до революции в 1917 году, где «Лорелея» возникает

<sup>41</sup> И. Месс-Бейер, *Мандельштам и сталинская эпоха. Эзопов язык в поэзии Мандельштама 30-х годов*, дисс. на соискание учен. степ. доктора философии, Хельсинки 1997.

<sup>42</sup> По справедливому замечанию Генриха Киршбаума (Г. Киршбаум, «Валгаллы белое вино». *Немецкая тема в поэзии Мандельштама*, НЛО, М. с. 56): «в русской поэтической и переводческой традиции образ Лорелеи — гейневского происхождения». И в этом образе «для Мандельштама важен прежде всего мотив губительного, искусительного зова, заманивания».

у Мандельштама впервые<sup>43</sup>, то и здесь ее появление должно подчеркнуть легендарную коллизию: за искушением неизбежно следует гибель. Поскольку «жертвы не хотят слепые небеса: вернее труд и постоянство». Лорелея со своим гребнем появляется и в *Египетской марке* в рассказе о самосуде толпы: кого-то ведут топить в Фонтанке. И вот, когда жертву подводят к реке, знаком смерти, напоминанием о ней является Лорелея со своей «гребенкой»: «Вот и Фонтанка — Ундина<sup>44</sup> барахольщиков и голодных студентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, играющая на гребенке с недостающими зубьями...». Фонтанка — река имперская, между Невой и Фонтанкой располагалось сердце императорского Петербурга. И она названа Лорелеей «вареных раков», то есть, все, некогда прельщенные имперской красой, уже сварены. Россия, как соблазн, и Фонтанка, как Лета... И если для Гейне Лорелея — это Германия, то для Мандельштама — Россия. Для обоих поэтов — образ соблазна чужой культуры. «Не искушай чужих наречий»...

В *Стансах* 1937 года, также обращенных к Сталину, обыгрывается все тот же мотив принятия действительности казней ради приобщения к новому миру:

Необходимо сердцу биться:  
Входить в поля, вращать в леса  
Вот «Правды» первая страница,  
Вот с приговором полоса.

Была ли сделка с вождем — «сделкой с совестью»? Бери выше! Тут совесть совсем отброшена («на честь и имя наплевать»<sup>45</sup>), она не нужна в этой новой огромности, ее надо выкорчевать. Какая совесть, когда мы идем в ногу со временем! «Путь к Сталину» отпускает всяк грех.

Дорога к Сталину — не сказка,  
Но только жизнь без укоризн...

Отныне поэт — очевидец и участник, и главное для него: «Чтоб ладилась моя работа/ и крепла — на борьбу с врагом».

<sup>43</sup> Знаменитые строки: «Все перепуталось, и некому сказать,/Что постепенно холодеет,/Все перепуталось, и сладко повторять:/Россия, Лета, Лорелея».

<sup>44</sup> Тоже образ девы-соблазна из немецкой мифологии, утягивающей путников на дно своего водяного царства.

<sup>45</sup> *Ты должен мной повелевать*, 1935.

Мотив капитуляции перед волей истории и Сталиным как ее воплощением, характерен не только для периода *Оды*, но и для стихов начала и середины 30-х годов: *За гремящую доблесть, Сохрани, Канцона, Стансы*. А в *Оде* и в других поздних стихах поэт даже повышает статус вождя: правитель он уже не земной и преходящий, а вневременный, почти божественный. Говорится о его «моложавом тысячелетии», когда «смерть уснет, как днем сова»:

Воздушно-каменный театр времен растущих  
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —  
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

В предложении сделки вождю-дьяволу Мандельштам опирается на глубокую традицию. Царь и поэт — не только старый русский сюжет, но и древнейший роковой конфликт двух сакральных «вертикалей» власти. Так для Пушкина поэт — царственный жрец:

Ты царь: живи один. ...  
Ты сам свой высший суд;

Ощущением тайной причастности высшей силе тешили себя многие поэты. То же понимание двуглавости верховной власти можно найти у Пастернака, напечатавшего в «Известиях» 1 января 1936 года стихотворение *О Сталине и о себе*, буквально повторяющего слова Мандельштама, только в качестве напарника вождя Пастернак, конечно, видит себя...

И этим гением поступка (Сталиным — Н.В.)  
Так поглощен другой, поэт,  
Что тяжелеет, словно губка,  
Любою из его примет.  
Как в этой двухголосной фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знанье друг о друге  
Предельно крайних двух начал.

Похоже, что и Сталин понимал значение Поэта не только как летописца, или как пропагандистской опоры власти, но и как фигуры, освящающей власть (тем более, когда религиозное освящение неприемлемо), отсюда и его пристальное внимание к литературе и искусству. Во власти поэтов, по Гейне, казнить царей на веки вечные: «Того, кто поэтом на казнь

обречен, и Бог не спасет из пучины...»<sup>46</sup> Мандельштам обращался к Сталину именно потому, что верил в их «знание друг о друге» и в свою значимость: «Я говорю за всех с такою силой, /Что небо стало небом...»<sup>47</sup>: «Попробуйте меня от века оторвать, — /Ручаюсь вам — себе свернете шею!»<sup>48</sup>. Похожие сделки с «партнерами по власти» совершал и Пушкин. Вкусив тоски изгнания, он рад был вернуться на службу и его *Стансы* (1826) полны верноподданнических излияний.

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Здесь точно такой же «ход»: мол, казнь декабристов меня не пугает, Петр, наше всё, тоже круто начинал, но Пушкин принимает его казни ради «славных дней» и «рисует» его как Преобразователя:

Но правдой он привлек сердца,  
Но нравы укротил наукой...  
...  
То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник,  
Он всеобъемлющей душой  
На троне вечный был работник.

Эти слова можно отнести к Сталину. Пастернак в своих *Стансах*, написанных в том же, что и *Сохрани*, 1931 году, обращаясь к Сталину и его эпохе, просто перефразирует Пушкина:

В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни  
...  
Труда со всеми сообща  
И заодно с правопорядком.

Пастернака казни тоже не пугают, он глядит на эти вещи без боязни. Особенно мило звучит «Заодно с правопорядком» — подходит ко всем эпохам.

Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравненье разня:  
Начало славных дней Петра

<sup>46</sup> Г. Гейне, *Германия. Зимняя сказка*, гл. 27.

<sup>47</sup> *Я больше не ребенок!*, 1931.

<sup>48</sup> *Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето*, 1931.

Мрачили мятежи и казни.  
Итак, вперед, не трепеща  
И утешаясь параллелью...<sup>49</sup>

Пастернак оправдывает славословие «величием дня», а Пушкин «славными днями» — никакой разницы.

Можно сказать, что с начала тридцатых годов Сталин окружил Мандельштама со всех сторон, заполнил собой все пространство его жизни, забрал весь воздух, стал его вселенной, его судьбой, его манией преследования, Всевышним, наблюдающим за ним повсюду («И ласкала меня и сверлила/Со стены этих глаз журиба»<sup>50</sup>). Весь путь тридцатых годов был «дорогой к Сталину», жертвенной дорогой самозаклания и самозаклятия. Это был и путь вглубь России, как путь Данта в Преисподнюю. И, конечно, если вернуться к стихотворению *Сохрани*, с коего я начал свой облет этой дороги, что закончилась даже не могилой, а ямой<sup>51</sup>, то, надеюсь, ни у кого не осталось сомнений в том, что адресат этой мольбы о сохранении речи — Сталин<sup>52</sup>.

Для подтверждения этой версии Мандельштам оставил в тайнике стихотворения еще одну шифровку: строку «Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду». Дело в том, что Сталин любил играть в городки. Так маршал Штеменко в своих мемуарах пишет: «Нам, кроме того, была известна его любовь к городкам. Для игры в городки разбивались на партии по 4–5 человек в каждой, конечно из числа желающих. Остальные шумно ‘болели’. Над неудачниками подтрунивали, иной раз в озорных выражениях, чего не пропускал и Сталин. Сам он играл неважно, но с азартом. После каждого поражения был очень доволен и непременно говорил: ‘Вот так мы им!’ А когда промахивался, начинал искать по карманам

<sup>49</sup> Б. Пастернак, *Столетье с лишним — не вчера...*, 1931.

<sup>50</sup> *Средь народного шума и сбега...*, январь 1937.

<sup>51</sup> «И в яму, в бородавчатую темь/Скольжу к обледенелой водокачке/И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,/И разлетаются грачи в горячке...» (февраль 1937).

<sup>52</sup> В конце *Путешествия в Армению* есть «сказ» о двух царях, одном бывшем, Аршаке, томящимся в узилище крепости, и ныне царствующем ассирийце Шапухе, — ни дать ни взять изложение истории Мандельштама и Сталина в виде армянской исторической хроники:

<sup>1</sup> *Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.*

<sup>2</sup> *Ногти царя сломаны, и по лицу его ползают мокрицы.*

<sup>3</sup> *Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку.*

<sup>4</sup> *Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время — он прижимал виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста.*

<sup>5</sup> *Семя Аршака зачало в мошонке, и голос его жидок, как бляение овцы...*

<sup>6</sup> *Царь Шапук — как думает Аршак — взял верх надо мной, и — хуже того — он взял мой воздух себе.*

<sup>7</sup> *Ассириец держит мое сердце...*

спички и разжигать трубку или усиленно сосать ее»<sup>53</sup>. О городках вспоминает и генерал Власик, секретарь Сталина и один из его самых интимных помощников: «Любил Сталин играть в городки, и на дачах были разбиты городошные площадки. В Сочи площадка была немножко выше дачи, там он играл с Кировым и Буденным: они все любили и много играли в городки. Это была хорошая разминка и проверка самого себя: а не притупился ли глаз? Не ослабла ли рука? Сталин играл метко и очень размеренно — лишние силы он в удар не вкладывал. Киров бил немного сильнее. Буденный бил так, что бита втыкалась в ограждение, пробивала его, — настолько мощный был удар. Рука у Буденного была просто железная. По ходу игры всегда шел разговор, в котором часто обсуждались конкретные события. Обсуждались они таким образом: вот какие-то события. И кто-то как-то ударил, каков удар, бита залетела слишком далеко, или не долетела, или промазал кто-то. С юмором это комментировалось. Припоминались по ходу обсуждения игры какие-то конкретные события. То есть игры как развлечения не было, а игра происходила как бы между делами»<sup>54</sup>.

Непризнанный брат, как и братья признанные, жаждал признания Вождя, и ради этого был готов, «прицелься на смерть», превратить перо поэта в битую всевластного городошника.

<sup>53</sup> С.М. Штеменко, *Генеральный штаб в годы войны*, Воениздат, М. 1989.

<sup>54</sup> Н. Власик, *Рядом со Сталиным. На службе у вождя*, <https://biography.wikireading.ru/huhKIBTx8e> [дата обращения: 1.12.2025].